



Альшевская Ксения Станиславовна родилась 27 ноября 1989 года. Окончила Сибирский федеральный университет по специальности журналистика. Сейчас обучается в аспирантуре на факультете философии. Участница «Совещания молодых писателей Сибири, Урала и Дальнего Востока» в городе Томске в 2015 году. Живет в г. Красноярске.

## **Ксения Альшевская г. Красноярск**

### **Хрупкость прекрасного**

Что за цвет! Горчичный, смесь жёлтого и красного или нет – медленно подмешанная охра в густой чёрный. Что за цвет! Любовь де Мессина, основа контраста, сияющий изнутри камень и тёмная келья Иеронима с деталями, прорисованными мелкими невидимыми штрихами кисти. Знал ли маляр, прибавляющий колер в краску, заметил ли, что сотворил чудо: стены, сквозь которые изнутри словно при лессировке пробивается чистый потусторонний трансцендентный божественный свет? Только грубым доступна красота. Тёрнер, Ван Гог. Руки, выпачканные краской, упитанные обывательские тела, лица лишённые красоты. Я уже слышу, как мать удовлетворённо улыбается, расхаживая по моей комнате. «Русские не знают, что такое красота, – её рука театрально поднимается вверх, указующим перстом в небо. – Они постоянно путают её с этикой. Для них красивый и добрый поступок одно и то же. Посмотри вокруг. Разве ты видишь здесь хоть намёк на красоту?» Пусть болтает. Красота – сложение тысячей случайностей, момент, мгновение и в

тоже время идея, универсалия, свет, пробивающийся через камень.

Я иду по больнице. Коридоры пусты. Мои ботинки стучат о плитку (нелепый коричневый!), свет льётся нескончаемым потоком Ниагарского водопада из окна, и я сам подсматриваю, подслушиваю за собой, вижу своё тело выцарапанное пером среди черноты.

Она опять за старое! Ей не нравятся цветы. Она говорит с надрывом громко. «Это сирень! Обычная сирень!» Я пытаюсь её успокоить и даже ласково говорю «мама». Про себя совсем другое: красота обыденности, простоты, каждодневности. Что может быть сложнее восхищения от звёздного неба над головой, мимолётной радости от взгляда любимой, одиночества от света луны, ласкающей землю? Красота – бесконечность, выраженная конечными средствами (гений Шеллинга). Нет, нет, Кирилл был не прав, раскуривая свою сигару, пахнущую горьковатым миндалем, хуля всех старых богов и раздавая поклонны релятивистам, припадая на колени перед Фуко, Делёзом, Деррида, термитами человеческой культуры.

Ну что ещё? Ах да. Забыл. Она просила мою новую работу. Ну вот. Теперь будет дуться, пока я не уйду, не пересеку этот грязно-коричневый пол больницы, и тогда она раскается звонками, письмами, смсками.

Всё как обычно. Тоже брюзжание. «Ты растрачиваешь себя попусту, будь на волне, плохи не твои картины, а твои идеи». Набирает обороты, движется дальше, в будущее, на своём корабле критики. «Ты так и будешь бедным художником! Поступись принципами – умри гением». Где врач? Я хочу, чтобы ей вкололи снотворного (или лучше яду). О нет. Решила конкретизировать. «Ну и какая идея сейчас тобой завладевает?» Бесконечность, разлитая во времени, универсалии не трансцендентные, а мирские, человеческие, заключенные во вздохах любовниках и слезах младенца. «Сейчас ничего». Любимая шарманка. «Разве для этого я

тебя кормила? Что ты был бедной бездарностью?» Кричит вслед, таким же противным глухим тоном, как и цвет плитки: слишком насыщенный глубокий, вульгарный, не терпящий дополнений.

Коридор опять пуст. Больница беспилотных духов, залатанных наспех душ. Или они все разбежались от моей матушки? Окно, открывающее Ниагарский водопад, горчичный, подсвечивающий безжизненный камень, приоткрытая дверь....

Их взгляд! Великолепно трансцендентное истинно! Я шёл мимо. Блуждал по пустынным коридорам. Их дверь в палату была приоткрыта. Они сидят напротив друг друга. Она – в нежной розовой пижаме, недвижимая, молчаливая, и он – с любовью откидывающий её волосы за спину и смотрящий ей в глаза. И свет! Свет! Льющийся потоком, заполняющий все пустоты, погружающий в себя. Будь ты проклят Кирилл со своей сигарой и релятивизмом! Я нашёл, что искал.

До студии бежал вприпрыжку, поехал на такси с болтающим без конца армянином и шансоном, а потом кинулся напрямик через три полосы, лавируя между машин. Мне не терпеться! Не упустить! Поймать тот миг, ухватить Жар-птицу за хвост. Раздевался, как любовник в порыве страсти, на ходу.

Работал три часа, не останавливаясь. Всё не то! Не то! Безумный расстроенный вышел на кухню, закурил и стал мерить шагами комнату. Беккет, привыкший к моим бдениям, зевнул и только показал пузо: «Гладь!» Надо собраться. Ещё раз всё обдумать. Поймать острое момента – хрупкое, ненадежное – идеальное сочетание идеи и формы.

«Друг мой, ты идеалист. (Только его сигара пахнет вкусно. Сам он – крайне противный человек, с несимметричным лицом и взглядом шулера на картине

Караваджо). Как ты там говоришь? Универсалии, платоновские идеи существуют и растворены здесь во времени? Глупость. Язык? Сегодня тарелкой мы называем посуду для еды, а завтра назовём так стол или вазу. Красота? Ты видел Бенкси или Куинджи? Кому-то нравится, кому-то нет. Этика? Её постулаты недоказуемы и изменчивы с течением времени. (Пепел с его сигары падает на лакированную блестящую, отражающую свет люстры – ручку кресла, и он смахивает его как все трансценденции с мира). Истина? Она для каждого своя. Всё что есть – это течение времени, изменчивость. В наш век даже бесконечность конечна». Отец ехидно с удовольствием улыбается, лишний раз признавая моё ничтожество и вместе с тем своё разочарование.

Нет. Не прав. Я чувствую это. Крик, плач, смех, любовь – вот оно, универсальное, понятное на любых языках. Вот оно, неизменное, светящееся в каждом мгновение мира. Художник – метафизический авантюрист!

Опять работал. Перебирал техники наугад, как играл в рулетку. Его взгляд не даётся. Ящик Пандоры заколдованный, заколоченный, замкнутый. Вместо любви в глазах – ненависть, безразличие, отрицание. Мне нужен язык понятный всем. И мне не хватает света! Они должны парить в свете, дышать светом, окунаются в свет. У меня же – жалкие отбросы, обрывки. Слишком густой, слишком тёмный. Ни свет, а тюрьма.

Рассвело. В пять упал на кровать как был грязным и немывтым. Даже Беккет фыркнул и свернулся клубком в своей корзине. Возбужденный, растревоженный распалённый мыслями не мог уснуть. Всё вскакивал. Начиная ходить по комнате и падал опять на кровать в надежде уснуть. Нет. Он не прав. Смех, плач, крик...

Проснулся резко, внезапно, от звонка и лая Беккета. По инерции на цыпочках пробрался к двери и глянул в замочную скважину. Отец?! Кинулся убираться: под

кровать засунул вещи, в корзину Беккета носки (он рычал и ему это не нравилось), грязное бельё в машинку, посуду сложил ровной стопкой в раковине. Отец настойчиво всё это время звонит. Проклятье! Упрямец! Когда открыл дверь, сразу же начал морщить лицо, собирая складки как у шарпея от затылка до бровей. Я мялся перед ним у входа, отряхивал майку, пытаюсь разгладить. Он быстрыми семимильными шагами пересёк квартиру и уронил себя на стул. «Чая!» – гавкнул и замолчал. (Беккет, бедняга, сел в угол и скалит зубы). Мешал сахар громко, противно стуча о фарфор ложкой. Специально ведь! Как всегда начал с политики. Россия, Украина, Америка. Патриотизм, национализм (очень любит всякие – измы). «Ну. Мать сказала, что ты работаешь над чем-то новым. Опять мазня? Бред сумасшедшего? Как там его Поллок? Лучше бы нарисовал что-нибудь об Украине. Людям понравится. Непобедимая российская армия, плачущие женщины». Напрягся. Почувствовал себя ничтожеством. Стал быстро оправдываться. «Нет. В этот раз не то». «А, вспомнил, – демонически блеснул глазами, – ты там что-то говорил про – как там их? – универсалии и время». «Да, да (говорю быстро, запинаясь, оправдываясь). Универсалии это как платоновские идеи. Нечто постоянное и неизменное. Бог, любовь, красота...» **НЕНАВИЖУ! НЕНАВИЖУ! НЕНАВИЖУ!** Сдерживаюсь, чтобы не плеснуть чаем в его шарпейское лицо. Смех сотрясает кухню, смеются чашки, кружки, чайник подскакивает от смеха, часы гогочут как ненормальные все, всё смеется надой мной вместе с ним. Наконец, успокаивается. «А ты разве не знал, что Бог умер?» Когда за ним закрылась дверь, добавил: «И Ницше тоже».

Опять кинулся работать. Теперь куда спокойней. Я понял. Неверная композиция. Только приоткрытая дверь и там, в глубине комнаты, она в своей розовой пижаме, он ласково убирающий её волосы за плечи и свет,

божественный свет озаряющий комнату, вещающий чудо любви, являющий трансцендентности миру. Кровать? Больничная койка. Нет, её быть не должно. Никаких двусмысленностей: любовь или жалость. Откровение для хулящего истину, прозрение для слепца, доказательство для неверующего во всеобщее. Вот оно! Острие момента! Идеальное сочетание идеи и формы!

Заказал пиццу. Но даже не притронулся. Голод – союзник вдохновения! Кто сыт, тот думает только о себе. Принёс её мужчина, с наигранным пониманием смотрел, как я ищу по карманам мелочь, выискиваю остатки своей чести. Потом опять работа. Часов пять без остановки. Чувствую, что близок. Ещё ни много – и язык станет понятен каждому!

В четыре утра разрыдался от бессилия, и Беккет слизал мои слёзы. Ничего не выходит. Всё выбросил. Резал, кромсал, уничтожал свою неспособность. Переступая себя, насилуя вдохновение, опять рискнул, пустился в авантюру и стал кистью накладывать короткие отрывистые мазки. Чувствую, что теперь близок.

Не знаю, что было вчера (чудо, вдохновение, случайность?), но сегодня зашёл в мастерскую и замер. Сердце остановилось, а потом забило как сумасшедшее. Не мог поверить своим глазам, раздёрнул шторы, приблизился к ней и стал руками водить по шершавой быстрыми судорожными мазками лежащей краски. Вот она! Пойманная в сети, заключенная на картине, как в клетке, чистая ясная любовь! Ещё два часа не мог оторвать от неё взгляд. Сидел на диване счастливый, смеялся, представлял, как зайдет сюда Новиков, как в удивлении перед чудом замрёт, а потом придёт Долгов. Уж он-то, он-то сразу поймёт!

Съел холодную, похожую на резину, пиццу и дал кусок Беккету. Голодный, испачканный чернилами с вчера, проглотил и даже не жевал. Позвонил Новикову. Просил

прийти его как можно скорей. Он на том конце трубки отпирался, увиливал. В конце концов, резко сказал: «Денег не дам!» Долго убеждал его, что деньги не нужны, что он должен кое-что увидеть (всё никак не могу сказать это громкое слово «полотно», «картина»). Устав отпираться, сказал, что зайдёт вечером.

Помылся (вода почему-то жёлтая или я так грязен, смываю с себя шелуху мира), затащил Беккета на постель, вспомнил про мать и сразу же заснул.

Новиков идёт по квартире как всегда с осторожностью, не касаясь предметов, отказываясь от чая (хорошо, что отказался, его всё равно нет). Тот самый мой любимый его костюм с глубоким непроницаемым плотным серым цветом. Верхняя пуговица на рубашке растёгнута и мне, грязному волочащемуся сзади, видны поблескивающие запонки в свете люстры. Наконец. Дверь. Он вопросительно поднимает свою тонко выщипанную бровь. «Ну? Показывай». Нервно трясушей рукой, открываю. Он стоит молча. Лица мне его не видно, я уполз в тень, как паук, забрался в дальний угол комнаты и слышу, как скулит и царапает дверь Беккет. Он (этот человек в сером) стоит перед ней молчаливый, недвижимый, короваджевский Давид с головой Голиафа. Поворачивается ко мне, проходит мимо и на ходу, бросает, как мяч детям: «Неплохо. Но стоит доработать».

Пока мы идём по коридору я, путаясь, объясняю про универсальное и мир, в котором оно разлито, рассказываю про хулителей и низвергателей. Беккет противно гавкает, и мне приходится бежать запереть его в комнате, потом обратно к двери (всё это так глупо, некстати). Он улыбается. «А ты не думал, что, может быть, универсальное создаешь ты сам, на своём полотне? Может быть, его и правда нет, и оно появляется только в твоём акте творения?»

Опять кинулся работать. Он прав. Надо переделать, изменить, найти новое равновесие, лучшую форму. Работать! Работать! Работать! Всё изменил. Теперь их лица крупным планом, двери нет, только взгляд и свет. Появились неудобные мысли: может прошлая была лучше, может – стоило оставить всё как есть? Кто знает, где пролегает та граница отделяющая шедевр от бездарности? Сколько раз переписывал Рембрандт, Ван Гог, Гоген? И как они знали, где остановиться? (Конечно, больше всего повезло Поллоку. Никаких переделок). Уже под ночь написал Долгову коротко и ясно: «Приходи!»

Долгов стоял долго (говорящая фамилия!), всматривался, наклонялся, приближая свою косматую голову совсем близко к ним, словно хотя вторгнуться в их мир. «Неплохо. Но стоит еще доработать. Слишком уж напоминает «Любовников» Рене Магритт. Может, стоит поменять композицию?» Я выдавил из себя улыбку, но не мог поверить. Опять?! На кухне Долгов сидел долго, крутя свою бороду, рассказывая о саваннах и горячих африканских женщин. Уверенный, что мне интересно (даже Беккет заснул от его рассказов), достал планшет и стал показывать соски своих африканских любовниц. Мне не сиделось. Я хотел кинуться в мастерскую и всё исправить. В голове вспыхивали одна за другой идеи. Может, стоит включить вазу с цветами, уравновесить композицию? Слишком сентиментально. Или поменять цвет её пижамы? Когда он ушёл, бросился работать и одна звезда, как одинокая любовница, горела ярче обычного.

В небольшом зале было темно и Кирилл Новиков, щурясь, старательно вглядывался в темноту. Все расселись и теперь над креслами, похожими на театральные, виднелись головы студентов. За спиной у Новикова горел большой монитор и он, уткнувшись в компьютер,



поставленный на тумбу, вертел головой от экрана ноутбука к монитору и обратно. В зале повисла тишина, и Новиков почувствовал, что пора начинать. Он открыл первый слайд, и на экране появилась картина: двое молодых людей, в профиль смотрят друг на друга. Их лица приближены так близко к зрителю, что видны вереницы морщин у мужчины и маленькая почти незаметная серёжка у женщины.

– Сегодня, я хотел бы поговорить с вами о хрупкости прекрасного, – голос Кирилла парил по тёмному залу, и ему казалось, что он ведёт лекцию перед тенями. – Посмотрите на эту картину. Что вы видите?

Тень с первого ряда подняла руку и заговорила:

– Двух молодых людей.

– А что вы видите в их глазах? Какое чувство между ними?

Другая тень, с конца зала крикнула:

– Безразличие.

Кто-то со второго ряда поднял руку и сказал:

– Надежда? Счастье?

Новиков улыбнулся, выдержав паузу, продолжил:

– Неудивительно, что вы не можете точно сказать, что за чувство между ними. Когда я впервые увидел эту картину, она была совсем другой. Приоткрытая дверь, в которую как будто бы подглядывает зритель, свет, разливающийся по комнате. Женщина, сидящая в розовой пижаме, и мужчина, нежно откидывающий её волосы за плечи. Не оставалось сомнения, что перед вами любовь. Но вот что осталось от той картины. Здесь нет больше никакой любви. Только непонятное, странное, неопределимое чувство. Поднимите руку, кто из вас, несмотря ни на что, всё-таки собирается стать художником?

Тени робко подняли руки.

– Ну, хорошо. Тогда я должен вас предостеречь. Самое хрупкое на свете – прекрасное. В истинных шедеврах нет ничего лишнего. Это идеальное сочетание идеи и формы. Попробуйте что-нибудь добавить, что-

нибудь убрать и всё развалится. Художник, нарисовавший эту картину, в первый раз создал шедевр. Хрупкий, уязвимый, говорящий на языке подлинной красоты. Но вместо того, чтобы оставить его как есть, он пустился в бесконечные переделки. И все было потеряно. Зольгер говорит нам, что хрупкость прекрасного – это сила внутреннего напряжения произведения искусства, не разрывающего его, но и не превращающего в обыденность, это максимум внутренней исполненности. И такое произведение всегда крайне уязвимо. Достаточно только одой оплошности, чтобы шедевр не получился, потому что самое хрупкое в нашем мире – прекрасное.